

Диктофон я тогда так и не достал. Разговор был слишком откровенным и домашним, чтобы портить его присутствием бездушного свидетеля. А еще — типично российским, обо всем: об истории, о политике, литературе, об общих друзьях и знакомых.

Вместо диктофона между нами стояла бутылка водки, которую достал Булат Шалвович со словами: «Должна быть хорошая — Войнович из Германии привез». В общем, всю деловую часть мы отложили до середины июня, то есть до этих вот дней. Окуджаву уезжал за границу, а по приезде обещал подобрать для «Новой газеты» мемуарную прозу и, может быть, стихи.

А тогда, в самом конце апреля, мы с поэтом Андреем Черновым просто пришли к Окуджаве повидаться. Оказалось — поговорить.

И как же важно сейчас все, что он сказал! Хотя и тогда, в тот счастливый весенний вечер, мы с Андреем понимали это.

«Мне повезло, — говорил Окуджава, — что я появился со своими песенками в шестидесятые — сейчас бы их никто не услышал».

Хотелось возразить, и Окуджава, поняв это желание, утешил: «Зато мои книжки сейчас выходят сами собой».

И когда речь зашла о нынешней ситуации в России, Булат Шалвович тоже увидел одну светлую сторону, сказав, что очень надеется на молодых умных политиков, которые сейчас приходят во власть.

Но отнюдь не все, что говорил Окуджава в этот вечер, было исполнено оптимизма.

Уже провожая нас до дверей, он спросил у Чернова, когда же все-таки в России окончательно закрепостили крестьян.

«В шестнадцатом — семнадцатом веке», — ответил Андрей.

«Вот тогда Россия и погибла», — сказал Булат Шалвович...

Вообще история России была постоянным предметом его размышлений. Не случайно он писал исторические романы. Хотя не только желание доискаться до корней происходящего двигало его пером. Кажется, порой ему просто хотелось пожить в другом времени — премиущественно в пушкинском, когда понятия чести и достоинства не были пустым звуком. И я не раз ловил себя на мысли, что Окуджава сам оттуда, что золотые струны его гитары — из «золотого» века русской поэзии.

О песнях Окуджавы сколько ни пиши — все мало. Многие годы они были и остаются паролем российской интеллигенции,

ее самосознанием, утешением, оправданием и даже способом выживания.

Мы аукаемся Окуджавой, как люди «серебряного» века аукались Пушкиным. Любим дом становится своим, если в нем поют окуджавские песни...

Дар его был от Бога, а от семьи, воспитания и самовоспитания — абсолютный нравственный слух. Ни разу в жизни Окуджава не изменил ему, не сделал ни одного непорядочного поступка, не участвовал ни в одном недостойном деле, хотя времена склоняли как раз к участию. И как же подла российская власть, если даже в годы оттепели и глотка свободы имен-

но его, Окуджаву, человека, брезгующего любой безвкусицей, она травила и дразнила: пошляк, пизжон!..

В нашем последнем разговоре он вспоминал это время. Тогда после потока «разоблачений» Окуджавы в партийной печати Евтушенко контрабандой протащил его на большой вечер поэзии в Политехническом. Когда Булату Шалвовичу дали слово, по залу прокатился гул. Вряд ли он означал восторг (даже слово «пошляк» долетело до сцены). Но Евтушенко нашел способ истолковать шум в зале как выражение радости и сказал, что понимает реакцию публики, что сам только что из

Звездного городка, где спрашивал космонавтов (этих любимцев шестидесятых!) об их поэтических пристрастиях.

«И космонавты сказали, что их любимый поэт — Окуджава!» — почти прокричал Евтушенко. Зал был перемагничен. «Потом, — сказал Булат Шалвович, — я спросил Евтушенко, действительно ли космонавты меня так любят. — «Какие космонавты!» — удивился он. — Я с ними о тебе не говорил».

Но и космонавты, и люди более приземленных профессий любили и любили Окуджаву. Причем не только в России — во всем мире. Напри-

Любой дом становится своим, если в нем поют Окуджаву

Б. Окуджаве, в день прощания

Стихи флейты да валторны в городском моем саду,
Отзвучала эта песенка простая —
Он в последний свой троллейбус, как обычно, на ходу
Заскочил — и в синей полночи растаял...

Отторгав независимость — неясно, от чего —
Черной пятницей, тринадцатым июня
Осознали вдруг зависимость мы лично от него —
Как в гитаре от колков зависят струны.

И в арбатских переулках наступила тишина.
Шлемы пыльные снимите, командиры, —
Снова сводит с нами счеты та кавказская война,
Вот, поручик, Ваша вечная квартира.

Поднебесная квартира, капельмейстера жилье —
Часовой любви сменился этой ночью,
И от неба свет целебный к нам доходит из нее,
Из двери ее — без скважины замочной!

● Михаил ОВСИЩЕР
13 июня 1997 года

мер, в Париже, в котором оборвалась его жизнь, — по песням Окуджавы изучают русский язык...

И все-таки его смерть — прежде всего национальная трагедия России. Он был и остается ее голосом. Ведь не лукавыми устами политиков, не безязыким примитивом попы выражает она себя...

Но — какой-то рок над ней. Вот и День независимости, еще не успев стать праздником, отныне навсегда омрачен смертью ее поэта, быть может, последнего рыцаря ее великой литературы. Такие смерти означают конец эпохи. В новой рядом с нами не остается Учителей. Мы осиротели, но наследство, оставленное нам, огромно. Не промотать бы!

● Олег ХЛЕБНИКОВ

Из последних стихов

Славная компания... Что же мне решить? Сам я непьющий — друзья Умирать не страшно — Вот какие мысли меня	Сладость жертвы и горечь ей несвойственны и не даны. Потому-то посредственность эта не выносит полднего света — так и тянет ее в темноту... И знамена кровавого цвета прикрывают ее наготу.
Впрочем, эти мысли высказал Вольтер. Надо иногда почитать Запад, конечно, для нас Впрочем, я не вижу лучшего примера.	Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжок был или страшны митарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше.

Б. Ахмадуиной
Чувство собственного достоинства — вот загадочный
инструмент:
создается он столетиями, а утрачивается в момент,
под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль
болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.

Чувство собственного достоинства — вот таинственная
стеся,
на которой разбиться запросто, но с которой свернуть
нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый,
живой,
растворится, в пыль превратится
человеческий образ твой.

Чувство собственного достоинства — это просто портрет
любви.
Я люблю вас, мои товарищи, — боль и нежность
в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения своего.

Песенка из самого начала

Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был...
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?..

...Но с каждым днем все чище, все злей его люблю
и из своей любви богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

Душа в заветной лире

(Окончание. Начало на стр. 1)

Он явился, несмотря на температуру 38 градусов, и героически провел весь вечер — и концертную его часть, и застолье за кулисами человек на 80.

И вот было там, в финале концерта, такое стихийное действо. Уже отпел на сцене сам виновник торжества, уже загремели окончательные аплодисменты — и тут потянулись к Булату с цветами. Он стоял и принимал букет за букетом, складывая их на стул, и они уже не помещались, потребовался еще стул, а эта цветочная гора все росла и росла.

Я огляделся и понял, что в эти минуты все вокруг разом вспомнили одно и то же: как четыре года назад шла с цветами очередь, тоже нескончаемая, но скорбная; и так же росла гора цветов, но траурная: Москва прощалась с Высоцким.

Это была совершенно невольная и неизбежная параллель, и она сначала показалась мне кошунственной: мы же все-таки не на похоронах, а на юбилее, дай Бог здоровья дорогому маэстро.

Но кошунства не было. Как тогда в 80-м, так и теперь, в 84-м, была всеобщая, всепоглощающая благодарная любовь к поэту и человеку, и это настолько переполняло всех, что Жванецкий — позже, за столом — все-таки не выдержал и, встав, поднял рюмку: — Дорогой Булат, пью за то, что ты все это получил при жизни.

Но дорожке всех цветов был ему тогда один особый подарок. Вдруг из-за кулис на сцену вышел человек, весь откинувшись назад под тяжестью целой колонны из книг, которую он нес перед собой: 11 томов самиздата — в прекрасном переплете, отпечатанное типографским способом полное собрание сочинений, причем не только сочинений, но и всей критики, включая злобную! Единственный прижизненный многотомник. Душа в заветной лире...

160 лет тому его любимый Пушкин уже написал о нем, сразу от первого лица:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Все угадал гений: и песню, и гитару — и даже участие в Комиссии по помилованию.

● Юлий КИМ



Фото Сергея ЮЗНЕЦОВА